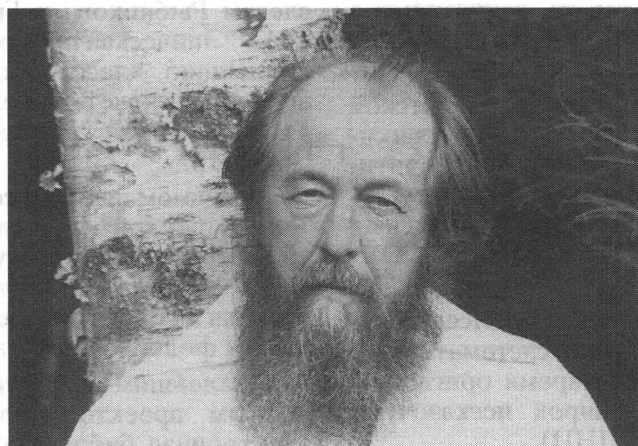


АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН (1918–2008)



Свершилось неизбежное. Умер Александр Солженицын. И теперь, когда его жизненный путь обрел окончательность и неотменимую целостность, стало еще яснее, сколь удивительна эта судьба. Что обещало мальчику, родившемуся в 1918 г. в Кисловодске в культурной семье выходцев из крестьян, такое необыкновенное будущее? Ведь ничего? Его дед со стороны матери до революции был богат, зато теперь, в советскую эпоху, это несчастное обстоятельство гарантировало Солженицыну, как минимум, подозрительность со стороны окружающих из-за его “соцпроисхождения” и длинную вереницу жизненных трудностей (все так и было...). Но разве это определило его судьбу? Все же нет. Хотя понимание открывшейся перед ним уже тогда страшной сути советского режима со временем окажется очень важным. Но вот когда 10-летний мальчик прочел “Войну и мир” и был потрясен масштабностью этой грандиозной эпопеи, а затем решил, что “тоже” напишет такое произведение, причем в 17-летнем возрасте, в ноябре 1936 уже конкретно определил, что это будет эпопея о Первой мировой войне и революции, и тут же начал собирать исторические материалы, разве можно было предположить в этом “намерении” что-то по-настоящему серьезное? Ведь, кажется, смешно?! Однако уже и тогда он оказался прав. Как и почему нисходит на человека Дар? Абсолютно непонятно... Но так или иначе Дар был обретен, и этот странный юноша вдруг осознал себя будущим писателем. Пусть пока в чисто литературном отношении он еще очень многого не умеет, но в нем уже начинает звенеть, в нем уже бьется эта натянутая струна, эта сжатая со страшной си-

лой пассионарная “пружина”, которая не сразу, но с неотклонимой окончательностью вырвет Солженицына из-под детерминирующей власти идеологических и социально-общественных воздействий и “почти насильственно” внесет туда, куда позовет Дар.

Однако этого не произошло ни в Ростовском университете, где Солженицын учился с 1936 по 1941 г. на физико-математическом факультете (там с особой силой стало ощущаться влияние эпохи, и будущий писатель стал увлекаться марксизмом...), ни даже на войне. В 1941 г. он был призван в армию, но попал, к своему великому сожалению, в обоз, откуда Солженицын всеми силами рвался на фронт, так что, когда это наконец удалось, он был счастлив. И там Солженицын снова начинает писать. Его тянет к большому эпосу, однако для этого необходимо по-настоящему глубокое понимание жизни, которое приходит очень-очень медленно. И еще: начинающему писателю нужен был какой-то очень сильный толчок извне, чтобы уйти от завладевшего его сознанием марксистского мировоззрения, и таким толчком стал арест в 1945 г. за слегка “замаскированную” критику Сталина в переписке со старым школьным другом Николаем Виткевичем. Тюрьма, лагерь... Конец жизни? Нет, оказалось — только начало.

И в лагере, и на шарашке (в закрытом научно-исследовательском институте МГБ), куда Солженицын был направлен как математик, его “спасло”, убергло от всежигающего отчаяния именно литературное творчество. В лагере он запомнил свои произведения наизусть, а на шарашке удавалось даже тайком что-то записывать... Но

главное было даже не это: именно здесь, в заключении, Солженицын ощущает мощное дыхание интеллектуальной свободы (и это несмотря на множество стукачей и на постоянную угрозу ужесточения наказания), ведь тут, в неволе, оказались самые умные и самые честные люди тогдашней России, у которых было чему поучиться, причем на шарашке можно было достаточно свободно развить в себе те качества, которые властно требовал от него Дар. И перед Солженицыным стало постепенно открываться: *тайная свобода* с наибольшей яркостью и полнотой проявляется именно здесь. Внешне несвободный зек мог быть в полной мере самим собой, не “ломаю” себя изнутри и не пытаюсь соответствовать идеологии и психологии “советского человека”, навязываемой всем без исключения гражданам СССР.

И когда потом, уже после шарашки, после Экибастузского лагеря, после удивительной победы над, казалось бы, уже погубившей Солженицына раковой опухолью, он в ссылке, в Кок-Тереке, начинает много и интенсивно писать, все, казалось бы, “лишние”, “отвлекающие от главного” обстоятельства его жизни постепенно оказываются для чего-то нужны, неслучайны.

В ссылке он начинает писать роман “В круге первом” (1955–1968), монументальное, многослойное эпическое повествование о народной судьбе в сталинскую эпоху и том нравственном выборе, который так или иначе стоит перед каждым и определяет духовный смысл человеческого бытия. В этом произведении есть черты романа воспитания: один из главных героев романа, узник шарашки Глеб Нержин, “ищет правду”, он хочет стать “другим человеком”. Но отвергнуть тоталитарный сталинский режим мало? И Нержин пытается понять, каким должен быть русский интеллигент сейчас: на шарашке, в лагере... Каковы его задачи? Ответов очень много, и они различны. Ведь даже об отношении к синей лампочке (“синему свету”) мнений оказывается почти столько же, сколько и людей... А значит, приходится выбирать или искать что-то свое. И в качестве яркого примера служения подлинно высокой цели перед Нержиным возникает образ рыцаря... Этого рыцаря изображает художник Кондрашёв-Иванов: “Растерянный, изумлённый, он смотрел туда, перед нами вдаль, где на всё верхнее пространство неба разлилось оранжево-золотистое сияние, исходящее то ли от Солнца, то ли от чего-то ещё чище Солнца, скрытого от нас за замком. Вырастая из уступчатой горы, сам в уступах и башенках, видимый и внизу сквозь клиновидную щель и в разломе между скалами, папоротниками, деревьями, игловидно поднимаясь на всю высоту картины до небесного зенита, – не чётко-реальный, но как бы сотканный из облаков, чуть колышистый, смутный и всё же угадываемый в подробностях нездешнего совершен-

ства, – стоял в ореоле невидимого сверх-Солнца сизый замок Святого Грааля”. Этому-то образу совершенства (фактически речь идет о неназванном по имени Христе) и будет служить Парсифаль, герой картины Кондрашёва-Иванова, и такой пример высокого рыцарского служения Истине производит на Нержина сильное впечатление. Однако Нержин, который тоже воспринимает себя в качестве одного из представителей интеллектуальной элиты (“– А что должна делать элита в лагере?” – спрашивает он Герасимовича в финальной главе романа), в то же самое время дружит и с простым дворником Спиридоном. Разумеется, это вызывает насмешки друзей Нержина – неортодоксального сталиниста Рубина и радикального западника Сологодина, которые эту нелепую, с их точки зрения, дружбу с безграмотным мужиком добродушно-иронически называют “хождением в народ”. Глеб, по их мнению, занимается “поисками той самой великой сермяжной правды, которую ещё до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой <...>.”

Сами же Рубин и Сологдин не искали этой сермяжной правды, ибо обладали Абсолютной прозрачной истиной”. И Рубин, и Сологдин – безусловные монологины, но, в отличие от явно заблуждающегося Рубина, увлеченность Сологодина “рыцарской идеей” кажется читателю очень привлекательной. Однако постепенно выясняется, что этот герой, статный и красивый, похожий на прекрасного древнерусского князя, тайно презирает простой народ, вслед за П.Я. Чаадаевым сожалея о том, что Россия не приняла католичества вместо православия. “– И получилась косопузая страна. Страна рабов!” – провозглашает Сологдин. Причем даже и внешняя схожесть с Александром Невским ему неприятна: “– Александр Невский для меня – совсем не герой. И не святой. Так что это – не похвала. <...> он не допустил рыцарей в Азию, католичество – в Россию! <...> он был против Европы!”

Так, казалось бы, этически безупречный образ рыцарства буквально на наших глазах трансформируется, а его восприятие обретает диалектическую неоднозначность и противоречивость. И только углубившись в сложное переплетение мнений, идеологических оценок и суждений, мы начинаем понимать, что *элита* только тогда действительно достойна называться этим словом, когда она открыта народной боли. И озабочена народной судьбой.

Однако это понимание не навязывается нам каким-либо дидактическим способом, а естественным образом возникает в сознании того, кто, в отличие от Рубина и Сологодина, *не обладает* монологически завершенной “Абсолютной прозрачной истиной”. Подобного же рода пре-

одоление дидактической традиции, обычно ассоциирующейся с жанром романа воспитания, можно обнаружить и в романе И.В. Гёте “Годы учения Вильгельма Мейстера”: оба писателя, вместо того чтобы “поведать миру” Абсолютную истину, стремились вместе с читателем постепенно и настолько, насколько это вообще возможно, *приблизиться к ней*. Готовые и “слишком простые” решения их не устраивали.

Рассказ “Один день Ивана Денисовича” принес Солженицыну славу и мировую известность. Прочитав эту рукопись, Твардовский был потрясен, но прежде всего даже не тем, что этот никому еще не известный писатель посягнул на абсолютно запретную в СССР тему советских концлагерей (да ведь и о судьбах репрессированных крестьян в годы сталинского террора в те годы еще не принято было задумываться: мужик в лагере – сама эта тема была очень важна и дорога для Твардовского), – нет, дело было все же в другом. Внезапно он осознал одну очень простую вещь: перед ним находится рукопись, созданная гением... Поэтому Александр Трифонович, невзирая на риск лично для себя как главного редактора “Нового мира”, через Н.С. Хрущева добился публикации “крамольного” произведения (“Новый мир”, 1962, № 11).

Образ Шухова воплощает многие лучшие черты простого русского крестьянина – совесть, доброту, мягкость, покладистость, терпеливость, способность понять беду другого и прийти на помощь. На первый взгляд важнее всего для главного героя рассказа оказывается “просто” выжить в лагере, но как следует приглядевшись, мы видим, что не менее важно для героя сохранить чувство собственного достоинства. Это видно даже в “мелочах”: Иван Денисович *не может* есть в шапке, а плавающие в баланде рыбы глаза, несмотря на голод, оставляет нетронутыми, потому что они кажутся ему *живыми*...

Солженицыну в этом рассказе удается буквально “раствориться” в персонаже, увидеть все изображаемое его глазами, “реинкарнировать” в “другого”. Благодаря этому у читателя возникает ощущение исключительной близости образа автора и Ивана Денисовича. Солженицын “отдаляет” образ автора от самого себя, делая его рупором точки зрения Шухова. Такой новаторский композиционный прием далеко не всеми был понят в 1960-е годы, из-за чего возникли многочисленные недоразумения. Читатели часто думали, что под именем Ивана Денисовича автор описывает самого себя, и что якобы именно поэтому точка зрения Шухова оказывается здесь доминирующей. В то же время “Один день Ивана Денисовича” – это подлинная энциклопедия жизни советского каторжного лагеря начала 1950-х годов,

и эта жизнь предстает перед нами во всей ее сложности.

Вслед за “Одним днем Ивана Денисовича” Солженицын публикует в “Новом мире” (1963, № 1) рассказ “Матрёнин двор” (1959), и он производит не менее сильное впечатление на читателей, однако подлинную глубину и сложность этого произведения в те времена смогли понять лишь очень немногие. Рассказ скрыто мистичен. Злое, потаенно-инфернальное начало в наибольшей степени проявляется здесь в образе Фаддея Григорьева, бывшего жениха Матрёны, одержимого корыстью и жаждой мести. И даже жену Фаддей подбирает себе с тайным умыслом – у нее должно было быть то же самое имя: “Сказал: буду имячко твоё искать, вторую Матрёну”. А потом оказывается, что дети главной героини рассказа один за другим умирают, и это – так считают все в деревне – вызвано “порчей”, причем у Фаддея рождается ровно столько же детей, сколько родилось (и умерло) у Матрёны Григорьевой. Предвестием катастрофы оказывается разрушение замкнутого пространства ее дома: Фаддей добивается, чтобы бревна от горницы, завещанные дочери Фаддея Кире, Матрёна отдала *еще при жизни*. И на эту горницу, по словам рассказчика, “легло проклятие с тех пор, как руки Фаддея ухватились ее ломать”. Когда Матрёна погибает, рассказчик вспоминает давнюю угрозу Фаддея убить ее за то, что та не стала его женой: “Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, – а ударила-таки...”. Катастрофа происходит после того, как кто-то крадет у главной героини рассказа котелок со святой водой: “Исчез котелок, как дух нечистый его унёс”, и Матрёна, не имея возможности причащаться в слишком далеком от их деревни храме и оставшись даже без святой воды, делается беззащитной перед мистическими силами зла.

Больше всего Матрёна боялась поезда: “– Как мне в Черусти ехать, с Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят – аж в жар меня бросает, колени трясутся. Ей-богу правда! – сама удивлялась и пожимала плечами Матрёна”. И, очевидно, неслучайно именно на этом отрезке железнодорожного пути ее собьет паровоз.

После гибели тело Матрёны превращается в страшное кровавое месиво, однако лицо сельской праведницы, “целёхонькое, спокойное, больше живое, чем мёртвое”, да чудом уцелевшая правая рука оказываются знаками особой отмеченности героини. Здесь все неслучайно. “– Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться...”, – говорит одна из женщин. С “очерковой точностью” и документальной достоверностью воспроизводя конкретные детали изображаемого им мира, писатель позволяет нам увидеть и ми-

стическую “изнанку” происходящего. Солженицын не навязывает читателю именно такое видение событий: при желании метафизические аспекты повествования можно проигнорировать или даже не заметить, но для писателя было принципиально важно то, что все мотивы, связанные с “вертикальным”, мистическим восприятием бытия, взяты автором из жизненной реальности, благодаря чему они обретают особую значимость и подлинно онтологическую весомость.

Со второй половины 1960-х гг. травля писателя в советской прессе становится все более ожесточенной. Солженицын всегда был убежден в целительной и духовно освобождающей силе правды: “ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ”, – скажет он позже в Нобелевской лекции (1971–1972), и этот властный голос звучит во всех без исключения его произведениях, направляет поступки, движет судьбой.

Это проявляется даже и в самых “тихих” его произведениях, например в повести “Раковый корпус” (1963–1967), в которой Солженицын описал пациентов и врачей того самого онкологического отделения ташкентской больницы, где лечился он сам и где постепенно произошло его исцеление от тяжелой раковой болезни. Опыт соприкосновения со скорой смертью, неизбежной для многих обитателей ракового корпуса, заставляет их переосмыслить свое отношение к жизни. А бывший зэк Костоглотов вспоминает некогда прочитанную им в каком-то журнале медицинскую статью, в которой говорилось о связи калиево-натриевого обмена с психологическим состоянием человека: “– <...> Какие-то из этих солей, не помню, допустим натрия, если перевешивают, то ничто человека не берёт, через барьер не проходит и он не умирает. А перевешивают, наоборот, соли калия – барьер уже не защищает, и человек умирает. А от чего зависят натрий и калий? Вот это – самое интересное! Их соотношение зависит – от н а с т р о е н и я человека!! Понимаете? Значит, если человек бодр, если он духовно стоек – в барьере перевешивает натрий, и никакая болезнь не доведёт его до смерти! Но достаточно ему упасть духом – и сразу перевесит калий, и можно заказывать гроб. <...> Так я не удивлюсь, – развивал Костоглотов, – что лет через сто откроют, что ещё какая-нибудь цезиевая соль выделяется по нашему организму при спокойной совести и не выделяется при отягощённой. И от этой цезиевой соли зависит, будут ли клетки расти в опухоль или опухоль рассосётся”. И читателю постепенно становится ясно, что самое труднопреодолимое препятствие для человека – это вовсе не среда, якобы детерминирующая его поведение, а прежде всего он сам...

В СССР “Раковый корпус” Солженицыну напечатать не удалось, эта повесть распространя-

лась в самиздате и в 1968 г. была издана за границей. Травля в советской прессе постепенно усиливалась и не только не прекратилась, но даже возросла, когда в 1970 г. писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе.

С 1958 по 1967 г. Солженицын пишет книгу “Архипелаг ГУЛАГ” (первая публикация в Париже в 1973–1974 гг.). Это произведение было задумано Солженицыным не только как памятник всем жертвам коммунистического тоталитаризма, но и как воплощение голосов тех, кто не дождался до освобождения и потому не смог донести до нас свой страшный жизненный опыт. Всем этим людям автор и посвятил свою книгу, попросив у них прощения за то, что “не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался”.

Не ограничиваясь критикой сталинской эпохи, писатель разрушает миф о “гуманности” ленинизма, убедительно показывая, что в основе преступлений советской власти не только злая воля отдельных людей, таких, как В.И. Ленин и И.В. Сталин, но в первую очередь сама человеконенавистническая идеология, безбожная и кровавая. “Как это понять: злодей? Что это такое? Есть ли это на свете? – спрашивает писатель. – <...> когда великая мировая литература прошлых веков выдувает и выдувает нам образы густо-чёрных злодеев – и Шекспир, и Шиллер, и Диккенс – нам это кажется отчасти уже балаганным, неловким для современного восприятия. И главное: как нарисованы эти злодеи? Их злодей отлично сознают себя злодеями и душу свою – чёрной. Так и рассуждают – не могу жить, если не делаю зла. Дай-ка я натравлю отца на брата! Дай-ка упысь страданиями жертвы! Яго отчётливо называет свои цели и побуждения – чёрными, рождёнными ненавистью”.

“Нет, так не бывает! – убежден Солженицын. – Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие”. Человеческая природа практически всегда побуждает “искать оправдание своим действиям”, и тут на помощь приходит идеология, которая во имя достижения “правильных” целей не только “прощает” любые преступления, но даже и напрямую требует их. Впрочем, писатель напоминал, что “линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, – она проходит через каждое человеческое сердце – и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятom злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце – неискоренённый уголок зла”. Именно поэтому, по убеждению Солженицына, “нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить”.

“Архипелаг ГУЛАГ” – это сотрясающая душу книга о мерзости и величии человеческого духа в ситуации, когда, казалось бы, не может быть места чему бы то ни было, кроме экзистенциально-отчаяния. И далеко не случайно, что эта трагически-светлая поэма о народной немоте и боли каждый год переиздается на самых разных языках, снова и снова... Она изменила сознание людей во всем мире. Это важная составляющая культурного багажа современного человека.

20 лет, с 1974 по 1994 г., Солженицын провел в изгнании. Советские власти не могли ему простить “Архипелаг...” (да и другие “крамольные” произведения, конечно, тоже) и не только выслали из страны, но и потом делали все возможное, для того чтобы ослабить воздействие слова писателя на западную общественность. А Солженицын работал... Он сравнительно мало общался с людьми и очень много писал. Да чем же еще и должен заниматься писатель?

Он был уверен, что когда-нибудь мы поймем и Божий “замысел о Семнадцатом годе”. Событиям этого времени посвящена эпопея “Красное Колесо” (1937, 1969–1973, 1975–1990), задуманная когда-то в юности и ставшая для Солженицына главным делом жизни. Это огромное, очень сложное и диалектически многомерное повествование о гибели русской земли в XX столетии, о том, почему и как победила в России революция, безбожная и кровавая... Но несмотря на все страшные последствия этой победы, пред читателем открывается и нечто иное. Вот сон философа Варсонофьева: “Большое помещение с высокими и темными потолками, наполненное шумным безалаберным множеством людей, лицами в разные стороны. Откуда-то понимает Варсонофьев, что это – Биржа, и он тут зачем-то стоит. Но не успеваешь ни приглядеться, ни – что они делают (только разговаривают громко все). Вдруг – властно голова его поворачивается, обязанная смотреть. Мимо него входит в зал – мальчик с дивно светящимся лицом, и словно он хочет объявить всем необыкновенную новость. Он проходит мимо, держа в руках перед грудью какой-то небольшой сверкающий предмет, – проходит на середину зала, свободно, как будто тут не столплены густо, там останавливается, приподнимает что в руках! – и вдруг в едином жарко-ледяном дыхании, дыблящем волосы, охватывающем весь зал (всех тут!), Варсонофьев понимает, что этот мальчик – Христос, а в руках у него бомба! – ужасного взрыва для целого мира – и сейчас, через секунду, она взорвется.

И не выдержав содрогновения, нестерпимого ожидания взрыва – проснулся. <...>

И ещё сидел, старался вспомнить точные оттенки смысла, ощущения, ведь они сотрутся потом. Что это была за Биржа? Не петербургская,

не московская, и может быть даже вообще не Россия или, во всяком случае, не одна Россия. Это какой-то смысл имело – всеобщий.

И хотя нестерпимо было пережить этот взрыв – но он был не просто уничтожение, он был и Свет, слишком светилось лицо мальчика.

О! сколько было сил непознанных! В каком-то непостижимом объеме совершалось нечто великое – и может быть только слабым отображением были те завихрения на улицах русских городов в последние недели”. Этот сон явно содержит некую высшую правду о революции 1917 г., подлинное промыслительное значение которой, по Солженицыну, неясно и поныне. Поэтому сквозь, казалось бы, абсолютно безнадежную вереницу предательств, горя, крови и отчаяния, изображенных в “Красном Колесе”, перед нами сияет свет... “Все удивлялись, что для колоссального переворота никому не пришлось приложить совсем никаких сил, – думает Варсонофьев. –

Да, земных”.

Даже глобальная апостасийная катастрофа 1917 г., при всей ее ужасающей конкретности и вселенском масштабе, не в силах поколебать то ощущение мировой гармонии, которая – вопреки всему – сияет на страницах эпопеи.

“Красное Колесо” не только центральное произведение солженицынского творчества и самое значительное из всего написанного им, причем не стоит забывать и о том, что эта эпопея среди прочего имеет и большую научную ценность: до сих пор нет ни одного исторического труда, в котором история Февральской революции была бы описана с такой скрупулезной точностью и подробностью – по часам, а иногда и по минутам. Писатель много лет посвятил работе в архивах, изучая историю русской революции не по готовым исследованиям, а “напрямую”, без посредников. Поэтому можно с уверенностью сказать, что и сегодня никто не знает историю русской революции в такой степени, в какой знал ее Александр Солженицын.

Большую научную ценность имеет и работа писателя по очищению и обогащению русского литературного языка. Лексика Солженицына всегда удивляет. Быть может, первое, что бросается в глаза при знакомстве с любым произведением писателя – это появление большого количества “странных” слов. Одной из первых на необычные свойства солженицынской лексики обратила внимание Т.Г. Винокур, подчеркнувшая высокую значимость работы писателя над словом. Причем, как показывает глубокое и обстоятельное исследование Веры Валентиновны Карпович (Нью-йоркский университет), лишь 40% “необычных” слов, используемых писателем, напрямую заимствованы им из словаря В.И. Даля, а все остальные являются авторскими новообразо-

ваниями (Солженицын специально не изобретал новых слов, но вслед за Далем считал, что приставки, корни и суффиксы можно достаточно свободно комбинировать друг с другом). Карпович подчеркивает, что «в языке Солженицына нет балагурства или щегольства кудряво-народными словечками; нет у него и словесных “фокусов” или “выкрутасов” <...>. И в отборе далевской лексики, и в создании новых слов писатель стремится к точным, мыслимым и вещественным словам <...>». В статьях “Не обычай дегтем щи белить, на то сметана” (1965) и “Некоторые грамматические соображения” (1977–1982), но более всего в “Русском словаре языкового расширения” (1947–1988) перед нами предстает глубоко продуманная и целостная концепция обогащения русской речи, имеющая большую художественную и научную ценность. Так что отнюдь не случайно, что в 1997 г. за выдающиеся заслуги перед русской литературой и культурой, за работу по очищению и художественному обогащению современного русского языка писатель был избран действительным членом Российской Академии наук.

Девять лет назад, в 1999 г., Александр Солженицын опубликовал одну из своих последних прозаических миниатюр, крохотку “Поминование усопших”:

“Оно – с высокой мудростью завещано нам людьми святой жизни.

Понять этот замысел – не в резвой юности, когда мы тесно окружены близкими, родными, друзьями. Но – с годами.

Ушли родители, уходят сверстники. Куда уходят? Кажется: это – неугадаемо, непостижно, нам не дано. Однако с какой-то предданный ясностью просвечивает, мерцает нам, что они – нет, не исчезли.

И – ничего больше мы не узнаем, пока живы. Но молитва за души их – перекидывает от нас к ним, от них к нам – неосязаемую арку – вселенского размаха, а непреградной близости. Да вот они, почти можно коснуться. И – неизвестные они, и, по-прежнему, такие привычные. Но – отставшие от нас по годам: иные, кто был старше нас, те уже и моложе.

Сосредоточась, даже в ды х а е ш ь их отзыв, заминку, предупреждение. И – своё земное тепло посылаешь им в обмен: может, и мы чем-то пособим?

И – обещаешь встречи”.

Эти строки все время приходили мне на ум при виде нескончаемо-длинной вереницы людей, пришедших в здание Российской академии наук попрощаться с великим человеком. Самые простые лица: многие здесь явно были совсем далеки от литературы, но каждый из этих людей посчитал необходимым лично для себя прийти и проститься. Вот, например, девушка, вероятно, студентка, очевидно очень ограниченная в средствах, принесла один небольшой цветочек и тихо положила его в то море цветов, которыми был окружен гроб с телом Писателя. Все было очень просто и неотвратимо, как судьба.

П.Е. Спиваковский